

Ловушка для Золушки

Автор:

Себастьян Жапризо

Ловушка для Золушки

Себастьян Жапризо

Новый перевод одного из самых знаменитых романов Себастьяна Жапризо, классика детективного жанра, автора таких произведений как «Дама в автомобиле, в очках и с ружьем», «Купе смертников», «Убийственное лето» и др. Сразу после публикации этот роман был удостоен французской литературной премии «Grand Prix de Litterature Policiere».

Героиня романа, получив во время пожара сильные ожоги, изменившие ее внешность, теряет память и пытается заново воссоздать свою жизнь, чтобы понять – кто же она на самом деле. До последних страниц для читателя остается загадкой: было ли вообще совершено преступление и кто остался в живых – преступница или жертва.

Себастьян Жапризо

Ловушка для Золушки

Sebastien Japrisot

PI?GE POUR CENDRILLON

© Editions Deno?l, 1962

© ООО «Издательство К. Тублина», 2018

© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2018

© А. Веселов, оформление, 2018

Я готова убить

Давным-давно жили-были три маленькие девочки: одну звали Ми, вторую – До, а третью – Ля. И была у них крестная, от которой вкусно пахло; она никогда их не ругала, если они не слушались, и называли они ее крестная Мидоля.

Как-то раз они гуляют во дворе. Крестная целует Ми, но не целует ни До, ни Ля. Как-то раз они играют в свадьбу. Крестная выбирает невестой Ми, но никогда не выбирает ни До, ни Ля. Как-то раз им грустно-прегрустно. Крестная уезжает, она плачет вместе с Ми, но не говорит ни слова ни До, ни Ля.

Из трех девочек Ми – самая красивая, До – самая умная, а Ля скоро умрет.

Похороны Ля – большое событие в жизни Ми и До. Много свечей, много шляп на столе. Гробик Ля выкрашен в белый цвет, земля на кладбище рыхлая. Человек роет яму, на нем куртка с золотыми пуговицами. Крестная Мидоля вернулась. Она говорит Ми, которая ее целует: «Любовь моя». Она говорит До: «Ты испачкаешь мне платье».

Проходит много лет. Крестная Мидоля, о которой говорят шепотом, живет далеко-далеко, присылает письма с орфографическими ошибками. Сперва она бедная и делает туфли для богатых дам. Потом разбогатела и делает туфли для бедных дам. Потом у нее стало много-много денег, и она покупает красивые дома. Потом умер дедушка, и она приезжает в огромном автомобиле. Она дает Ми примерить свою красивую шляпу; она смотрит на До, но не узнает ее. На кладбище рыхлая земля, и человек бросает ее в дедушкину яму, на нем куртка с золотыми пуговицами.

После До станет Доменикой, Ми – далекой Мишель, которая иногда приезжает на каникулы, она дает примерить своей кузине До красивые кружевные платья. Стоит Ми открыть рот, как все приходят в восторг; она получает письма от крестной, которые начинаются словами «Моя любимая девочка», она плачет на могиле матери. На кладбище земля рыхлая, крестная все время обнимает за плечи Ми, Мики, Мишель, что-то нежно ей шепчет, но что именно, До не слышит.

Позже Ми ходит в черном, потому что у нее больше нет мамы, она говорит До: «Мне очень-очень нужно, чтобы меня любили». Ми сама все время цепляется за руку До, когда они идут гулять. Ми говорит кузине: «Если ты меня обнимешь и поцелуешь, я никому не скажу, я женюсь на тебе».

Еще позже, года два, а может, и три спустя, Ми целует своего отца на бетонной полосе аэродрома возле огромной птицы, которая унесет его далеко-далеко, туда, где живет крестная Мидоля, в страну свадебных путешествий, в город, который До ищет на географической карте, водя по ней пальцем.

А еще позже Ми можно будет увидеть только на фотографиях в глянцевых журналах. Вот здесь у нее длинные темные волосы, она входит в бальном платье в огромный зал – весь в мраморе и позолоте. А вот здесь она, вытянув длинные ноги, лежит в белом купальнике на палубе белой яхты. Вот она ведет маленькую открытую машину, куда набились, тесно прижавшись друг к другу и размахивая руками, молодые парни. Иногда у нее красивое грустное лицо, брови над прелестными светлыми глазами слегка нахмурены, но это из-за солнца, которое слепит на снегу. Иногда она улыбается близко-близко, глядя прямо в объектив, и подпись по-итальянски сообщает, что когда-нибудь она станет одной из самых богатых девушек в стране. Еще позже крестная Мидоля умрет, как умирают феи, в своем палаццо во Флоренции, Риме или на берегу Адриатики. Такую сказку сочинила себе До, хотя она уже не маленькая и знает, что все это выдумки.

Пусть правды в этой сказке немного, но вполне достаточно, чтобы не спать по ночам. А крестная Мидоля вовсе не фея, а просто богатая старуха, которая по-прежнему пишет с ошибками, и видела ее До только на похоронах, и вовсе она ей не крестная, да и Ми ей тоже не кузина; такое говорят только детям прислуги, как До, как Ля, потому что это так мило и никому не обидно.

До уже двадцать лет, столько же и маленькой принцессе с длинными волосами на журнальных фотографиях. Каждый год на Рождество До получает в подарок туфельки, сшитые во Флоренции. Наверное, поэтому она считает себя Золушкой.

Меня убили

Внезапная вспышка белого света режет мне глаза, точно бритва. Кто-то склоняется надо мной, чей-то голос вонзается мне прямо в голову, я слышу крики, отдающиеся эхом в далеких коридорах, но знаю – это кричу я сама. Я вдыхаю черноту, кишашую чужими лицами и шепотами, – и я умираю заново, уже счастливая.

Через мгновение – день, неделю, год – свет снова ложится на закрытые веки, руки горят, горит рот, горят глаза. Меня катят по пустым коридорам, я снова кричу, чернота.

Иногда боль собирается в одной точке, в затылке. Иногда я чувствую, что меня двигают, куда-то катят, и боль огненным потоком растекается по жилам, иссушая кровь. Во тьме часто появляются огонь и вода, но мне уже не больно. Огненная пелена меня пугает. Снопья водяных струй холодные, но приятные, когда спишь. Мне хочется, чтобы лица стерлись, а шепот стих. Когда я вдыхаю ртом черноту, мне хочется, чтобы она сгустилась, хочется нырнуть глубоко-глубоко в ледяную воду и больше не всплывать.

Но неожиданно я возвращаюсь, боль выталкивает тело на поверхность, белый свет бритвой режет глаза. Я вырываюсь, ору, слышу издали свои крики, и голос, который вонзается мне в голову, что-то резко говорит, но я не понимаю слов.

Чернота. Лица. Шепот. Мне хорошо. Девочка моя, если не перестанешь, я ударю тебя по лицу папиными, желтыми от табака пальцами. Птенчик мой, зажги папе сигарету, огонь, подуй на спичку, огонь.

Свет. Боль в руках, во рту, в глазах. Не шевелитесь. Не шевелитесь, деточка. Так, тихонько. Больно не будет. Кислород. Тихонько. Так, вот умница, умница.

Чернота. Женское лицо. Дважды два четыре, трижды два шесть, линейка бьет по рукам. Выходим парами. Открывай шире рот, когда поешь. Все лица выходят парами. Где медсестра? Не смейте шептаться в классе. Когда будет хорошая

погода, пойдём купаться. Она говорит? Сперва она бредила. После пересадки жалуется на руки, нет, на лицо не жалуется. Море. Если заплывешь далеко, можно утонуть. Она жалуется на мать, на какую-то учительницу, которая била ее по пальцам линейкой. Волны катятся у меня над головой. Вода, волосы в воде, ныряй, всплывай, свет.

Я всплыла сентябрьским утром, лежа на спине на свежих простынях, лицо и руки уже не горят, они просто теплые. Возле моей кровати – окно, на стене напротив – огромный солнечный блик.

Подошел мужчина, он очень ласково говорил со мной, совсем недолго. Он просил меня быть умницей, стараться не шевелить головой и руками. Он говорил четко, почти по слогам. Такой спокойный, такой надежный. У него вытянутое костистое лицо, большие темные глаза. Вот только белый халат до боли слепит глаза. Он понял это, когда заметил, что я прикрываю веки.

В следующий раз он пришел в сером шерстяном пиджаке. Он снова говорил со мной. Просил моргнуть один раз, если я хочу ответить «да». Да, мне больно. Да, голова. Да, руки тоже. Он спросил, знаю ли я, что случилось. И увидел, как я в отчаянии распахнула глаза.

Он ушел, пришла сестра сделать укол, чтобы я заснула. Она большая, большие белые руки. Я поняла, что ее лицо открыто, а мое нет. Я попыталась определить, есть ли на коже бинты или мазь. Мысленно я проследила – виток за витком – всю повязку. Она обвивала шею, переходила на затылок, на макушку, закрывала лоб, огибая глаза, снова спускалась к подбородку, виток, еще виток. Я заснула.

В следующие дни я превратилась в существо, которое перевозят с места на место, кормят, катят по коридорам, которое отвечает «да», моргнув один раз, и «нет», моргнув два раза, которое не хочет кричать, но истошно орет на перевязках, которое пытается глазами задать терзающие его вопросы, которое не может ни говорить, ни шевелиться; просто животное, тело которого очищают мазями, а ум – уколами, нечто безрукое и безликое: никто.

– Через две недели снимем повязки, – сказал доктор с костистым лицом. – Честно говоря, даже немного жаль, вы мне очень нравитесь в виде мумии.

Он назвал мне свое имя – Дулен. Радовался, что через пять минут мне удалось его запомнить, а еще больше радовался, что я могу его правильно произнести. Сначала, когда он склонялся надо мной, он говорил: «мадемуазель», «деточка», «умница». Я повторяла за ним: «мадекласс», «делинейка», «утаблица»; умом я понимала, что таких слов не существует, но одеревеневшие губы произносили их помимо воли. Позднее он скажет, что у меня в голове «словесный винегрет», что это меньшая из моих бед и что это быстро пройдет.

И правда, мне потребовалось меньше полутора недель, чтобы узнавать со слуха глаголы и прилагательные. На имена нарицательные ушло на несколько дней больше. Но распознавать имена собственные я так и не научилась. Я могла повторять их правильно, как и остальные слова, но они ничего не вызывали у меня в памяти, кроме того, что мне сказал сам доктор Дулен. За исключением некоторых из них – например, Париж, Франция, Китай, площадь Массена или Наполеон, – все они были замурованы в прошлом, которого я не помнила. Я заучивала их заново, ничего другого не оставалось. Однако мне не пришлось объяснять, что такое «есть», «ходить», «автобус», «череп», «клиника» или любые слова, которые не означали конкретного человека, конкретное место или конкретное событие. Доктор Дулен говорил, что это нормально, что мне не стоит беспокоиться.

– Вы помните мое имя?

– Я помню все, что вы говорили. Когда мне разрешат посмотреть на себя?

Он отошел, я попыталась проследить за ним взглядом, но глаза заболели. Он вернулся с зеркалом. Я посмотрела: вот она я, два глаза и рот посреди маскипанциря, обмотанной белыми бинтами.

– Уйдет не меньше часа, чтобы снять все это. Но там прячется нечто очень красивое.

Он держал передо мной зеркало. Я полусидя опиралась на подушки; руки, вытянутые вдоль тела, были привязаны к кровати.

– А руки мне развяжут?

– Скоро. Нужно постараться быть умницей и не слишком шевелиться. Их будут фиксировать только на время сна.

– Вижу глаза. Они голубые.

– Да, голубые. А теперь и правда будьте умницей. Не двигайтесь и ни о чем не думайте. Спите. Я вернусь днем.

Зеркало исчезло, а вместе с ним и существо с голубыми глазами и ртом. Передо мной снова появилось длинное костистое лицо.

– Баю-баюшки, мумия.

Я почувствовала, что из полусидячего положения опускаюсь в лежачее. Мне хотелось увидеть руки доктора. Лица, руки, глаза – все это сейчас очень важно. Но он уже ушел, а я заснула без укола, совсем разбитая, повторяя имя, такое же незнакомое мне, как и все остальные, – мое собственное имя.

– Мишель Изоля. Меня зовут Ми, или Мики. Мне двадцать лет. В ноябре будет двадцать один.

Я родилась в Ницце. Мой отец по-прежнему там живет.

– Не спешите, мумия. Вы глотаете половину слов и переутомляетесь.

– Я помню все, что вы говорили. Я прожила много лет в Италии со своей тетей, она умерла в июне. Три месяца назад я получила ожоги во время пожара.

– Я говорил иначе.

– У меня была машина марки «эм-джи». Номер ти-ти-икс шестьдесят шесть – сорок три – тринадцать. Белого цвета.

– Молодец, мумия.

Я хотела удержать его, но резкая боль пронзила тело, снизу вверх от руки до самого затылка. Он никогда не задерживался дольше нескольких минут. Потом мне давали пить и заставляли спать.

- Машина была белая. Марки «эм-джи». Номер ти-ти-икс шестьдесят шесть - сорок три - тринадцать.

- А дом?

- Дом стоял на мысе Кадэ. Это между Ла-Сьота и Бандолем. Двухэтажный. Три комнаты и кухня внизу, три комнаты и две ванные наверху.

- Не так быстро. А ваша спальня?

- Она выходила на море и на городок, который называется Ле-Лек. Стены выкрашены в голубой и белый цвета. Говорю же вам, это идиотизм. Я прекрасно помню все, что вы говорили.

- Это важно, мумия.

- Важно, что я всего лишь повторяю за вами. Никаких воспоминаний не возникает, одни слова.

- Хотите повторить их по-итальянски?

- Нет. Я помню camera, casa, machine, bianca[1 - Комната, дома, машина, белая (ит.). - Здесь и далее примеч. пер.]. Я вам уже их говорила.

- На сегодня довольно. Когда будете себя лучше чувствовать, я покажу вам фотографии. Мне привезли три большие коробки. Я знаю вас, мумия, лучше вас самой.

Через три дня после пожара меня оперировал в Ницце врач по фамилии Шавер. Доктор Дулен заявил, что с неподдельным восхищением наблюдал, как Шавер исправляет последствия двух кровоизлияний, случившихся у меня в тот день, - невероятно тонкая работа, но такой операции ни одному хирургу не пожелаешь.

Я находилась в клинике доктора Динна в Булонском лесу, куда меня перевели через месяц после первой операции, в самолете произошло третье кровоизлияние, потому что за четверть часа до посадки пилоту пришлось резко набрать высоту.

– Доктор Динн занялся вами, когда пересадка кожи больше не внушала опасений. Он сделал вам хорошенький носик. Я видел слепок. Уверяю вас, просто прелесть.

– Расскажите о себе.

– Я шурин доктора Шавера. Работаю в больнице Святой Анны. Я не отхожу от вас с того самого дня, как вас привезли в Париж.

– А что мне делали?

– Здесь? Хорошенький носик, мумия.

– А до того?

– Это не имеет значения, раз вы тут. Радуйтесь, что вам двадцать лет.

– Но почему ко мне никого не пускают? Если я, например, увижу отца или кого-нибудь из старых знакомых, меня наверняка как следует тряхнет, и я разом все вспомню.

– Умеете же вы подобрать правильное слово, деточка. Вас действительно крепко тряхнуло, моя милая, и не раз, причем досталось именно голове, что и подпортило нам все дело. Так что теперь с визитами лучше повременим. – Он улыбнулся, осторожно потянулся рукой к моему плечу, секунду подержал, едва касаясь. – Не волнуйтесь, мумия. Все будет хорошо. Через какое-то время воспоминания будут по очереди возвращаться, потихоньку и безболезненно. Существует столько же видов амнезии, сколько тех, кто лишился памяти. Но у вас очень щадящий вариант. Ретроградная частичная амнезия без нарушения речи, даже без заикания, но настолько обширная и глубокая, что дыра просто не может не затягиваться. Пока не станет совсем-совсем крошечной.

Большим и указательным пальцами он показал маленький промежуток. Потом улыбнулся и нарочито медленно встал со стула, чтобы мне не пришлось резко переводить взгляд.

- Ведите себя хорошо, мумия.

И вот наступил тот день, когда я вела себя настолько хорошо, что меня перестали три раза в день травить снотворным, растворенным в бульоне. Это произошло в конце сентября, спустя три месяца после несчастного случая. Я могла притворяться, что сплю, пока память билась в железной клетке, ломая себе крылья.

В этой памяти хранились улицы, залитые солнцем, пальмы вдоль моря, школа, классная комната, учительница с затянутыми в пучок волосами, шерстяной красный купальник, ночи, подсвеченные огнями иллюминации, военные оркестры, шоколад, который протягивал американский солдат, а дальше – провал.

Потом страшная вспышка белого света, руки медсестры, лицо доктора Дулена.

Иногда очень ясно, с невыносимой и пугающей четкостью, мне представлялись руки мясника с толстыми, но при этом ловкими пальцами, одутловатое лицо, бритая голова. Это были руки и лицо доктора Шавера, которые я видела между двумя провалами, двумя комами. Воспоминание относилось к середине июля, когда он вернул меня в этот белый, равнодушный, непонятный мир.

Я считала в уме, закрыв глаза; затылок нестерпимо болел, упираясь в подушку. Передо мной плыли цифры, как на черной школьной доске. Сейчас мне двадцать лет. Американские солдаты, по словам доктора Дулена, раздавали шоколад девочкам примерно в 1944-м или 1945-м. Мои воспоминания обрывались где-то на пятом или шестом году моей жизни. Пятнадцать лет стерлись начисто.

Я автоматически запоминала имена собственные, потому что они ничего не значили, не имели никакого отношения к новой жизни, которую меня заставляли вести. Жорж Изоля, мой отец. Firenze, Roma, Napoli[2 - Флоренция, Рим, Неаполь (ит.)]. Ле-Лек, мыс Кадэ. Все напрасно, и позднее доктор Дулен объяснил мне, что биться головой о стенку бесполезно.

– Мумия, я же велел вам не тревожиться. Если имя отца вам ни о чем не говорит, значит, вы забыли и отца, и все остальное. Имя уже не имеет значения.

– Но когда я говорю «река» или «лиса», я же понимаю, о чем идет речь. Разве после того, что случилось, я видела реку или лису?

– Послушайте, деточка, когда вы поправитесь, обещаю, мы подробно поговорим на эту тему. А пока что вы должны быть умницей. Просто уясните для себя, что в голове у вас происходит определенный, хорошо исследованный и описанный, можно даже сказать, рядовой процесс. Каждое утро я вижу с десяток стариков, которых никто не бил по голове, но все они находятся примерно в таком же положении. Пять-шесть первых лет жизни – предел их памяти. Помнят школьную учительницу, но забыли собственных детей и внуков. Однако это не мешает им играть в карты. У них почти ничего не осталось в голове, но правила игры в белот сохранились, и скручивать сигареты они не разучились. Ничего не попишешь. Вы поставили нас в тупик своей амнезией сенильного типа, как у стариков. Будь вам лет сто, я пожелал бы вам доброго здоровья и поставил крест на вашем лечении. Но вам-то всего двадцать. И нет даже ни единой вероятности на миллион, что вы навсегда останетесь в таком состоянии. Понятно?

– Когда я смогу увидеть отца?

– Скоро. Через несколько дней с головы снимут эту средневековую штуковину. А там видно будет.

– Мне хочется знать, что именно произошло.

– Не сейчас, мумия. Я сперва должен кое в чем убедиться наверняка, а слишком долгий разговор вас утомит. Итак, номер вашей машины?

– Шестьдесят шесть – сорок три – тринадцать ти-ти-икс.

– Вы нарочно говорите не в том порядке?

– Да, нарочно! с меня хватит! Хочу пошевелить пальцами! Хочу увидеть отца! Хочу выбраться отсюда! А вы заставляете меня без конца повторять всякие

глупости! Каждый день! Хватит с меня!

- Ведите себя благоразумно, мумия.

- Не называйте меня так!

- Прошу вас, успокойтесь!

Я подняла руку, огромный гипсовый кулак. В тот вечер, по их словам, у меня случился «кризис». Прибежала медсестра. Мне снова привязали руки. Доктор Дулен стоял передо мной, прислонившись к стене, и смотрел на меня в упор с обидой и возмущением.

Я орала, сама не понимая, на кого я злюсь – на него или на себя. Мне сделали укол. Я видела, как пришли другие сестры и врачи. Кажется, тогда я впервые по-настоящему задумалась о том, как выгляжу.

Я словно воспринимала себя глазами тех, кто на меня смотрит, будто я раздвоилась в этой белой палате, на этой белой кровати. Бесформенное существо с тремя отверстиями, уродливое, истошно вопящее, стыд и позор. Я выла от ужаса.

Доктор Динн приходил ко мне все следующие дни и разговаривал со мной как с пятилетней девочкой, ужасно избалованной и весьма несносной, которую нужно защищать от самой себя.

- Еще одно такое представление, и я не отвечаю за то, что мы увидим, сняв повязки. Тогда пеняйте только на себя.

Доктор Дулен не приходил целую бесконечную неделю. Я сама несколько раз требовала, чтобы он заглянул ко мне. Сестра-сиделка, которой наверняка досталось после моего «кризиса», еле-еле отвечала на мои вопросы. Она отвязывала мне руки на два часа в день и все эти два часа не сводила с меня подозрительного и недовольного взгляда.

- Это вы здесь дежурите, когда я сплю?

- Нет.

- А кто?

- Другая.

- Я хочу видеть отца.

- Вам еще нельзя.

- Я хочу видеть доктора Дулена.

- Доктор Динн больше не разрешает.

- Расскажите мне что-нибудь.

- Что именно?

- Не важно. Поговорите со мной.

- Это запрещено.

Я смотрела на ее большие руки, которые казались мне красивыми и успокаивающими. Она почувствовала мой взгляд и, кажется, смутилась.

- Перестаньте следить за мной.

- Это как раз вы за мной следите.

- Приходится.

- Сколько вам лет?

- Сорок шесть.

- А сколько времени я здесь?
- Семь недель.
- И все эти семь недель вы ко мне приставлены?
- Да. Хватит, мадемуазель.
- А как я себя вела в первые дни?
- Вы не двигались.
- Я бредила?
- Бывало.
- И что я говорила?
- Ничего интересного.
- Ну что, например?
- Я уже не помню.

В конце следующей недели, показавшейся мне целой вечностью, в палату вошел доктор Дулен с коробкой под мышкой. На нем был мокрый плащ, который он не снял. В оконные стекла рядом с кроватью стучал дождь.

Он подошел, слегка коснулся, как обычно, моего плеча, произнес:

- Добрый день, мумия.
- Я давно вас жду.
- Знаю, - сказал он. - Я даже получил подарок.

Он объяснил, что после моего «кризиса» кто-то прислал ему цветы. К букету – георгины, которые так любит его жена, – прилагался небольшой брелок для ключей от машины. Он показал мне его. Круглый, из золота, с вмонтированным крохотным будильником. Очень удобно, когда паркуешься в «синей зоне» и нужно платить по времени.

– Это подарок моего отца?

– Нет. Одной дамы, которая заботилась о вас после смерти вашей тети. За последние годы вы видели ее гораздо чаще, чем отца. Ее зовут Жанна Мюрно. Она приехала за вами сюда, в Париж. Справляется о вас по три раза на день.

Я призналась, что это имя мне ничего не говорит. Он взял стул, поставил его возле моего изголовья, завел будильничек на брелоке и положил его на кровать возле моей руки.

– Он зазвонит через четверть часа, и тогда мне будет пора уходить. Вы в порядке, мумия?

– Я бы предпочла, чтобы вы меня больше так не называли.

– С завтрашнего дня не буду. Утром вас отвезут в операционную, снимут повязки. Доктор Динн полагает, что все хорошо зажило.

Он открыл коробку, которую принес с собой. Там были фотографии, мои фотографии. Он стал показывать их мне одну за другой, следя за моим взглядом. Похоже, он не надеялся, что я хоть что-то вспомню. Я и не вспомнила. Я видела темноволосую девушку, очень красивую, очень улыбчивую, стройную и длинноногую; на одних фотографиях ей было лет шестнадцать, на других – восемнадцать.

Снимки были великолепные, глянцевые, но наводили на меня ужас. Я даже не пыталась вспомнить ни это лицо со светлыми глазами, ни сменяющиеся пейзажи, которые показывал мне доктор. С самой первой фотографии я поняла, что все впустую. С одной стороны, я была счастлива, жадно разглядывала себя, но с другой – ни разу еще не чувствовала себя такой несчастной с той самой минуты, когда открыла глаза и увидела белый свет лампы. Мне хотелось и плакать, и смеяться. Наконец я заплакала.

– Ну, лапочка, не глупите.

Он сложил фотографии в коробку, хотя мне не терпелось снова их просмотреть.

– Завтра покажу вам другие снимки, где вы уже не одна, а вместе с Жанной Мюрно, тетей, отцом, друзьями, которые были у вас три месяца назад. Не особенно надейтесь, что они воскресят для вас прошлое. Но все-таки помогут.

Я согласилась и сказала, что доверяю ему. Брелок возле моей руки зазвенел.

Из операционной я вернулась на своих ногах, меня вели под руки сиделка и ассистент доктора Динна. Тридцать шагов по коридору – из-под салфетки, которой мне прикрыли голову, я видела только плитки пола. Черные и белые квадраты в шахматном порядке. Меня отвели в постель; руки устали даже больше, чем ноги, потому что еще были в гипсе.

Меня усадили в кровати, подложив под спину подушки, в палате появился доктор Динн в пиджаке, невысокий толстячок с остатками шевелюры. Он выглядел довольным. Он смотрел на меня с любопытством, внимательно следя за каждым движением. Мое голое лицо без повязок казалось мне холодным, как лед.

– Я хочу на себя посмотреть.

Он подал знак медсестре. Та принесла зеркало, в которое я смотрелась две недели назад, закованная в панцирь.

Мое лицо. Глаза в глаза. Прямой короткий нос. Обтянутые гладкой кожей скулы. Пухлые губы, приоткрытые в тревожной, слегка плаксивой полуулыбке. Кожа вовсе не мертвенно-бледная, как я ожидала, а розовая, словно только что вымытая. В целом довольно приятная внешность, хотя ей недоставало естественности, поскольку я боялась пошевелить лицевыми мускулами. Легкий азиатский оттенок из-за высоких скул и вытянутых к вискам внешних уголков глаз. Мое неподвижное, непривычное лицо, по которому скатились две горячие слезы, потом еще две и еще. Мое собственное лицо поплыло перед глазами и растаяло.

– Волосы быстро отрастут, – говорила сиделка. – Посмотрите, как они выросли всего за три месяца под повязкой. И ресницы тоже станут длиннее.

Ее звали мадам Раймонд. Она изо всех сил старалась причесать меня: укладывала коротенькие прядки, скрывавшие шрамы, одну за другой, чтобы придать волосам объем. Она протирала мне лицо и шею ватой. Приглаживала брови. Похоже, она уже не сердилась на меня за «кризис». И каждый день прихорашивала меня, точно перед свадьбой. Она говорила:

– Вы похожи на буддийского монаха и на Жанну д’Арк. Знаете, кто такая Жанна д’Арк?

Она принесла по моей просьбе большое зеркало и прикрепила к спинке кровати. Я смотрелась в него постоянно, прерываясь разве что на сон.

Охотнее всего она болтала со мной в долгие послеобеденные часы. Устраивалась возле меня на стуле, вязала, выкуривала сигарету, сидела так близко, что, стоило мне слегка наклонить голову, я видела в зеркале отражение двух наших лиц.

– Вы давно работаете сиделкой?

– Двадцать пять лет. Десять лет в этой клинике.

– А у вас бывали такие пациенты, как я?

– Многие хотят изменить себе нос.

– Я не об этом.

– Да, была одна женщина с амнезией, но уже давно.

– Она поправилась?

– Она была совсем старенькая.

- Покажите мне снова фотографии.

Она шла за коробкой, которую оставил доктор Дулен. Показывала мне по очереди снимки, которые не только не пробуждали никаких воспоминаний, но и не доставляли теперь такого удовольствия, как в первые минуты, когда я еще надеялась, что вот-вот вспомню продолжение событий, застывших на глянцевых прямоугольниках 9 на 13.

В двадцатый раз я смотрела на незнакомку, которой когда-то была, и теперь она нравилась мне куда меньше, чем девушка с короткими волосами в зеркале у изножья кровати.

Я разглядывала тучную женщину в пенсне с обвислыми щеками. Моя тетья Мидоля. Она никогда не улыбалась, всегда куталась в вязаную шаль и фотографировалась только сидя.

Я разглядывала Жанну Мюрно, которая целых пятнадцать лет ухаживала за моей тетей, а последние шесть-семь лет - и за мной, которая приехала в Париж, когда меня перевезли туда из Ниццы после операции. Это она пожертвовала мне кожу для пересадки - 25 на 25 сантиметров. Она каждый день посылала мне цветы, ночные рубашки, которыми я пока только любовалась, косметику, которой мне пока запретили пользоваться, бутылки шампанского, выстроившиеся в шеренгу вдоль стены, сласти - их мадам Раймонд раздавала в коридоре своим напарницам.

- Вы ее видели?

- Эту молодую даму? Да, много раз, около часа дня, когда хожу обедать.

- И как она выглядит?

- Как на photographиях. Вы сами сможете увидеть ее через несколько дней.

- Вы с ней беседовали?

- Да, и не один раз.

– А что она вам говорила?

– «Берегите мою девочку». Она была доверенным лицом вашей тетушки, что-то вроде секретаря или экономки. Она заботилась о вас в Италии. Ваша тетушка уже едва двигалась.

На фотографиях Жанна Мюрно выглядела высокой, спокойной, довольно миловидной, со вкусом одетой и сдержанной. Был всего один снимок, где мы с ней вдвоем. Все в снегу. Обе в лыжных брюках и вязаных шапочках с помпонами. Несмотря на лыжи и улыбку девушки, которая была мной, фотография не создавала ощущения близости, дружбы.

– Похоже, здесь она на меня сердится.

Мадам Раймонд взяла снимок и уверенно кивнула:

– Думаю, вы не раз давали ей повод сердиться на вас. Знаете, вы были не промах...

– Кто вам такое сказал?

– В газетах читала.

– А, понятно...

В июльских газетах говорилось о пожаре на мысе Кадэ. Доктор Дулен хранил номера, в которых шла речь обо мне и второй девушке, но пока еще не хотел мне их показывать.

Эта вторая девушка тоже была на снимках из коробки. Туда попали все – большие и маленькие, милые и неприятные, но сплошь незнакомые мне, все с одинаковыми застывшими улыбками, от которых меня мутило.

– На сегодня хватит.

– Почитать вам что-нибудь?

– Письма отца.

От него пришло всего три письма, зато добрая сотня – от родственников и друзей, которых я теперь не знала. Желаем скорейшего выздоровления. Мы очень тревожимся. Я лишился покоя. Жду не дождусь, когда смогу снова обнять тебя. Дорогая Ми. Моя Мики. Милая Ми. Моя сладкая. Мой бедный малыш.

Письма отца были нежными, в меру обеспокоенными, сдержанными и совсем не такими, как я ожидала. Два парня писали по-итальянски. Еще один, подписавшийся Франсуа, уверял, что я принадлежу ему навеки и что он заставит меня забыть этот ад.

А вот Жанна Мюрно прислала только одну записку, за два дня до того, как с лица сняли маску. Мне отдали ее только сейчас с остальными письмами. Видимо, послание прилагалось к коробке засахаренных фруктов, комплекту изысканного белья или к маленьким часикам, уже надетым мне на запястье. В ней говорилось: «Моя Ми, любовь моя, мой маленький птенчик, ты не одинока, клянусь тебе. Не волнуйся. Не тревожься. Целую тебя. Жанна».

Это письмо перечитывать было не нужно. Я выучила его наизусть.

С меня сняли гипс и повязки, из-за которых я не могла шевелить пальцами. Надели белые перчатки из хлопка, мягкие и легкие, но рук не показали.

– Я теперь всегда буду ходить в таких перчатках?

– Самое главное – вы сможете пользоваться обеими руками. Кости не деформированы. При движении будет больно только первые дни. Ювелирная работа вам не под силу, но обычные жесты трудности не составят. В худшем случае перестанете играть в теннис.

Это сказал не доктор Динн, а один из двух врачей-ассистентов, которых он прислал в палату. Они говорили со мной очень жестко, очевидно, для моей же пользы, чтобы я не раскисла от жалости к себе.

Несколько минут меня заставляли сгибать и разгибать пальцы, я должна была сжимать ассистентам руку, а потом отпускать. Они ушли, назначив контрольный рентген через две недели.

В то утро врачи тянулись один за другим. Вслед за первыми двумя явился кардиолог, за ним – доктор Дулен. Я ходила взад-вперед по палате, заставленной цветами, в плотной шерстяной юбке и белой блузке. Кардиолог расстегнул мне блузку, чтобы послушать сердце («состояние вполне достойное»). Я думала о своих руках, которые скоро увижу сама, когда сниму перчатки. Я думала о высоких каблуках, которые сразу показались мне совершенно естественными. Но если все стерлось у меня из памяти, если я снова в каком-то смысле превратилась в пятилетнюю девочку, то логичнее предположить, что туфли на каблуках, чулки, помада должны меня удивлять, разве не так?

– Вы мне уже надоели, – говорил доктор Дулен. – Я сто раз повторял: не нужно восторгаться подобной ерундой. Если я сейчас приглашу вас в ресторан и вы будете правильно держать вилку, что это докажет? Что руки помнят лучше, чем голова? Или я посажу вас за руль своей машины, и вы, слегка помучившись с переключением скоростей, поскольку раньше не водили четыреста третий «пежо», поедете почти без усилий – как вам кажется, чего мы добьемся?

– Не знаю. Лучше вы сами мне скажите.

– Хорошо бы подержать вас здесь еще несколько дней. Увы, вас очень спешат забрать. У меня нет никаких законных оснований удерживать вас, разве что вы сами захотите. А я даже не уверен, что имею право вас об этом просить.

– Кто хочет меня забрать?

– Жанна Мюрно. Она говорит, что больше не выдержит.

– Я увижу ее?

– А зачем, по-вашему, тут устроили такой кавардак?

Он показал рукой на мадам Раймонд, складывавшую мои вещи, еще одну медсестру, которая уносила бутылки шампанского и стопки книг, которые мне так и не успели прочитать.

- Почему вы хотите, чтобы я осталась?

- Вы уходите отсюда с милостивым личиком, хорошо отрегулированным сердечком, руками, которые будут вас слушаться, да и ваша третья извилина лобной доли левого полушария, похоже, тоже в отличной форме, но я-то надеялся, что вы выпишетесь, прихватив с собой свои воспоминания.

- Третья - что?

- Третья извилина лобной доли мозга. Левое полушарие. Там произошло первое кровоизлияние. Вероятно, оно спровоцировало афазию[3 - Афазия - локальное отсутствие или нарушение уже сформировавшейся речи.], которую я наблюдал у вас поначалу. Но со всем остальным это никак не связано.

- Что значит - со всем остальным?

- Не знаю, возможно, виноват страх, который вы испытали во время пожара. Или шок. Когда дом загорелся, вы пытались выбраться наружу. Вас нашли в самом низу, у лестницы, с открытым переломом костей черепа, рана была больше десяти сантиметров. Но в любом случае амнезия, которой вы страдаете, никак не связана с черепно-мозговой травмой. Поначалу я грешил на нее, но потом понял, что дело в другом.

Я сидела на разобранной постели, положив на колени руки в белых перчатках. Я сказала ему, что хочу уйти отсюда, что я тоже больше не выдержу. Когда я увижу Жанну Мюрно и поговорю с ней, то сразу же все вспомню.

Он покорно развел руками:

- Она придет днем. Наверняка захочет немедленно забрать вас. Если останетесь в Париже, я смогу принимать вас здесь, в клинике, или в своем частном кабинете. Если она увезет вас на юг, непременно свяжитесь с доктором Шавером.

Он говорил с обидой, и я понимала, что он на меня сердится. Я сказала, что буду часто приходить к нему, но если и дальше останусь взаперти в этой палате, то просто сойду с ума.

– Вы можете совершить только одну глупость, – сказал он мне. – Решить, что воспоминания вам не нужны и у вас впереди достаточно времени, чтобы накопить новые. Позднее вы сами об этом пожалеете.

Он ушел, оставив меня размышлять над его словами, хотя я уже и сама об этом задумывалась. С тех пор, как я обрела лицо, пятнадцать вычеркнутых из памяти лет беспокоили меня куда меньше. Еще оставалась боль в затылке – правда, вполне терпимая, – ощущение тяжести в голове, но и оно пройдет. Когда я смотрелась в зеркало, то становилась сама собой: раскосые, как у буддийского монаха, глаза, предвкушение новой жизни за стенами клиники – я была счастлива и нравилась себе. Тем хуже для той, другой, потому что теперь я вот такая.

– Все очень просто: когда я вижу себя в этом зеркале, я безумно себе нравлюсь, просто обожаю себя!

Я разговаривала с мадам Раймонд и кружилась по комнате, любуясь развевающейся юбкой. Но ноги моего восторга не разделяли: я чуть было не потеряла равновесие и в испуге остановилась – передо мной была Жанна.

Она стояла на пороге, держась за ручку двери: бесстрастное лицо, волосы светлее, чем я представляла, а бежевый костюм словно притягивал к себе солнце. Кроме того, рассматривая фотографии, я не отдавала себе отчета, насколько она высокая, почти на целую голову выше меня.

По правде говоря, ни ее лицо, ни весь облик не показались мне совершенно незнакомыми. На какое-то мгновение мне даже почудилось, что сейчас прошлое огромной волной накроет меня с головой. Наверное, у меня просто закружилась голова от вращения или от неожиданного появления женщины, которая выглядела странно знакомой, точно персонаж из мира снов. Я рухнула на кровать и инстинктивно, словно от стыда, закрыла лицо и волосы руками в белых перчатках.

Мадам Раймонд тут же деликатно вышла из палаты. Я увидела, как приоткрылись губы Жанны, услышала ее голос – мягкий, глубокий и такой же знакомый, как и ее взгляд. Она подошла и обняла меня:

– Не плачь.

– Не могу удержаться.

Я целовала ее в щеки, в шею, мне было обидно, что я могу прикоснуться к ней только через перчатки, я даже узнала запах ее духов, который тоже словно привиделся мне во сне. Я спрятала голову у нее на груди, стыдясь своих волос, а она нежно перебирала их и, наверное, видела скрытые под ними шрамы. Я пробормотала, что мне очень плохо, что я хочу уехать с ней, что она даже не представляет, как я ее ждала.

– Дай-ка мне посмотреть на тебя.

Я упиралась, но она заставила меня поднять голову, и ее взгляд дарил мне надежду, что все снова будет как раньше. Глаза у нее были золотистые, очень светлые, но где-то в глубине таилась странная неуверенность.

Она тоже знакомилась со мной заново и разглядывала меня с удивлением, в конце концов я не выдержала этого экзаменующего взгляда, попытки распознать во мне черты исчезнувшей девушки. Рыдая, я схватила ее за руки и оттолкнула от себя:

– Прошу вас, заберите меня отсюда. Не смотрите на меня так. Это я, Ми! Не смотрите на меня!

Она принялась целовать меня в голову, в волосы, приговаривая: «Моя милая, мой птенчик, мой ангел», – но тут пришел доктор Динн, которого явно привели в замешательство мои слезы и внушительный рост Жанны – когда она встала, то оказалась выше всех в палате, выше врача, его ассистентов и мадам Раймонд.

Последовали рекомендации, долгий обмен предупреждениями на мой счет, но я их не слышала, просто не желала слышать. Я стояла, прижавшись к Жанне. Она приобняла меня и разговаривала тоном королевы, которая увозит свое чадо,

свою Ми. Мне было хорошо, я уже ничего не боялась.

Она сама застегнула пуговицы на моем замшевом пальто, которое я, вероятно, раньше уже носила, потому что оно слегка вытерлось на рукавах. Она сама надела мне берет, повязала на шею зеленый шелковый шарф. Сама повела меня по коридорам клиники к стеклянной двери, сквозь которую проникали ослепительные солнечные лучи.

На улице стояла белая машина с черным откидным верхом. Жанна усадила меня внутрь, захлопнула дверцу, села за руль. Она была невозмутима и молчалива, время от времени поглядывала на меня с улыбкой и быстро целовала в висок.

Мы тронулись, заскрипел гравий под колесами. Открылись ворота. Широкие аллеи, всюду деревья.

– Это Булонский лес, – сказала Жанна.

Я устала. У меня слипались глаза. Я почувствовала, как скольжу вниз, касаюсь щекой ее бархатистой юбки. Совсем рядом, прямо перед глазами, крутился руль. Как чудесно быть живой! Я заснула.

Очнулась я на низком диване, ноги укрывал плед в крупную красную клетку. Свет многочисленных ламп на столиках не дотягивался до темных углов огромной комнаты.

Шагах в тридцати от меня, очень далеко, в высоком камине горел огонь. Я встала, больше обычного чувствуя давящую тяжесть пустоты в голове. Подошла к огню, придвинула кресло, рухнула в него и вновь задремала.

Позже я ощутила, как Жанна наклонилась надо мной. Я слышала ее голос, ее шепот. Потом мне вдруг показалось, что я вижу крестную Мидоля в оранжевой шали, наброшенной на плечи; ее везут в инвалидном кресле, она ужасно уродливая, прямо-таки страшная. Я заглянула в прошлое, от которого кружилась голова, где все выглядело размытым, словно смотришь через окно, залитое дождем.

Потом мир прояснился. Надо мной было светлое лицо Жанны, ее светлые волосы. Мне показалось, что она уже давно меня разглядывает.

– Все хорошо?

Я ответила, что все в порядке, и потянулась к ней. Сквозь ее волосы, которые касались моей щеки, я видела огромную комнату, деревянные панели на стенах, лампы, недостижимые для света углы, диван, с которого недавно встала. Плед теперь лежал у меня на коленях.

– Где мы?

– Мне разрешили пожить в этом доме. Потом объясню. Ты хорошо себя чувствуешь? Ты заснула прямо в машине.

– Мне холодно.

– Я сняла с тебя пальто. Наверное, зря. Подожди.

Она обняла меня крепче, начала растирать руки, поясницу, стараясь согреть. Я засмеялась. Она отстранилась с непроницаемым лицом, и снова я прочла неуверенность в глубине ее глаз. Внезапно она тоже засмеялась вместе со мной. Протянула мне стоявшую на ковре чашку:

– Выпей, это чай.

– Долго я спала?

– Три часа. Пей.

– Мы здесь одни?

– Нет, в доме еще кухарка и слуга, но они не знают, что происходит. Пей же. Им не верилось, что я в одиночку сумела дотащить тебя из машины до дома. Ты очень похудела. Я легко тебя донесла. Придется хорошенько постараться, чтобы ты снова нагуляла щеки. В детстве ты, наверное, меня ненавидела, когда я заставляла тебя есть?

– Я вас ненавидела?

– Пей. Нет, вовсе нет. Тебе было тринадцать, кожа да кости, все ребра торчали. Ты даже не представляешь, как меня мучила твоя худоба. Ты будешь пить?

Я залпом выпила уже остывший чай; его вкус меня не удивил, хотя и не слишком понравился.

– Ну как?

– Не очень. Скорее нет.

– А ведь раньше ты его любила.

Отныне я всегда буду слышать это «раньше». Я сказала Жанне, что в последние дни в клинике мне понемногу давали кофе и он мне помогал. Жанна склонилась над креслом и сказала, что даст мне все, что я захочу, главное, что я здесь и жива.

– Там, в клинике, вы меня не узнали. Ведь правда?

– Нет, неправда. Я тебя узнала. И прошу тебя, не говори мне «вы».

– Там в клинике, ты меня узнала?

– Ты мой птенчик, – сказала мне она. – Впервые я тебя увидела в аэропорту в Риме. Ты была еще совсем малышка, с большущим чемоданом. И у вид у тебя был такой же растерянный, как сейчас. Твоя крестная сказала мне: «Мюрно, если она не прибавит в весе, я тебя уволю». Я кормила тебя, мыла, одевала, учила говорить по-итальянски, играть в теннис и в шашки, танцевать чарльстон – учила всему на свете. Даже дважды тебя выпорола. С твоих тринадцати до восемнадцати лет мы не расставались дольше чем на три дня. Ты была моей девочкой. Твоя крестная говорила мне: «Это твоя работа». А теперь я начну все сначала. И если ты не станешь такой, какой была раньше, я сама себя уволю.

Она слушала, как я смеюсь, и смотрела на меня так пристально, что я внезапно осеклась:

– В чем дело?

– Ни в чем, дорогая. Встань.

Она взяла меня за руку, попросила пройтись по комнате. Отступила назад, чтобы посмотреть. Я сделала несколько неуверенных шагов, преодолевая болезненную пустоту в затылке и свинцовую тяжесть в ногах.

Когда она снова подошла ко мне, я подумала, что она старается скрыть свою растерянность, чтобы не пугать меня. Ей удалось изобразить искреннюю улыбку, будто бы я всегда была такой: заострившиеся скулы, короткий нос, волосы ежиком. Где-то в глубине дома часы проббили семь.

– Я так изменилась? – спросила я.

– Лицо изменилось, к тому же ты устала, и вполне естественно, что жесты и походка не такие, как прежде. Мне тоже придется привыкать.

– А как все это произошло?

– Не сейчас, дорогая.

– Я хочу вспомнить. Тебя, себя, тетю Мидоля, отца, всех остальных. Хочу вспомнить.

– Ты вспомнишь.

– А почему мы здесь? Почему ты сразу не отвезла меня в такое место, где меня знают?

Она ответит на этот вопрос только три дня спустя. А пока она прижала меня к себе, и мы стояли вдвоем, она баюкала меня в своих объятьях, говорила, что я ее девочка, что никто меня не обидит, потому что она больше меня не оставит.

- А тогда ты меня оставила?

- Да. За неделю до несчастного случая. Мне нужно было уладить дела крестной в Ницце. Я вернулась на виллу и обнаружила тебя полумертвой, ты лежала в самом низу у лестницы. Я как безумная ринулась вызывать скорую, полицию, частных врачей.

Теперь мы уже находились в другой огромной комнате, столовой, с темной мебелью и невероятно длинным столом - шагов десять от одного конца до другого. Мы сидели рядом. Клетчатый плед теперь был брошен мне на плечи.

- А долго я жила на мысе Кадэ?

- Три недели, - ответила она. - Сперва я провела там несколько дней с вами обеими.

- С обеими?

- С тобой и другой девушкой. Тебе нравилось держать ее при себе. Ешь. Не будешь есть - перестану рассказывать.

В обмен на проглоченный кусок бифштекса мне доставался фрагмент прошлого. Мы совершали этот товарообмен, сидя бок о бок в большом темном доме в Неи, где нам бесшумно прислуживала кухарка, которая обращалась к Жанне по фамилии, не добавляя ни «мадам», ни «мадемуазель».

- Та девушка была одной из твоих подруг детства, - объясняла Жанна. - Она выросла в том же доме в Ницце, что и ты. Ее мать стирала белье для вашей семьи. Вы с ней потеряли друг друга из виду, когда вам было лет восемь или девять, но в феврале этого года снова встретились. Она работала в Париже. Ты к ней привязалась. Ее звали Доминика Лои.

Жанна наблюдала за моей реакцией, ожидая проблеска воспоминаний. Безнадежно. Она говорила о людях, чья судьба вызывала у меня сочувствие, но сами они были мне чужие.

- Так это та самая девушка, которая умерла?

– Да. Ее обнаружили в сгоревшей части виллы. Очевидно, ты пыталась вытащить ее из спальни. Потом на тебе загорелась ночная рубашка. По всей видимости, ты собиралась бежать к бассейну в саду. Я нашла тебя у подножия лестницы полчаса спустя. Было два часа ночи. Сбежались соседи в пижамах, но все боялись тебя трогать, метались как безумные, не зная, что делать. Сразу после меня приехали пожарные из Ле-Лек. Они и отвезли тебя в Ла-Сьота, в медицинскую часть при верфи. А позже мне удалось вызвать скорую помощь из Марсея. И наконец, прилетел вертолет. Тебя переправили в Ниццу и на следующий день прооперировали.

– А что со мной было?

– Считается, что ты пыталась выбраться из дома и упала на нижних ступеньках лестницы. Или же пыталась вылезти через окно на втором этаже, но сорвалась. Более точного заключения следствие нам не предоставило. Одно бесспорно: у тебя обгорели руки и лицо, а при падении ты ударилась головой о ступеньки. На теле тоже были ожоги, но не такие серьезные – должно быть, ночная рубашка все-таки тебя защитила. Пожарные мне что-то объясняли, но я точно не помню. Ты была совершенно голая, черная с головы до пят, в руках и во рту – клочья обуглившейся ткани. От волос ничего не осталось. Люди, столпившиеся вокруг, думали, что ты умерла. На макушке у тебя зияла рана с мою ладонь. В первую ночь мы больше всего волновались именно из-за нее. Позднее, после операции, которую провел доктор Шавер, я подписала согласие дать кожу на пересадку. Твою уже было не восстановить.

Она говорила, не глядя на меня. Каждая ее фраза вонзалась мне в голову раскаленным сверлом. Жанна отодвинула стул, приподняла юбку, приоткрыв правую ногу. На бедре над чулком темнел квадрат, откуда взяли кожу для пересадки.

Я уронила голову на руки в перчатках и заплакала. Жанна обняла меня за плечи, и мы сидели так несколько минут, пока не пришла кухарка и не поставила на стол поднос с фруктами.

– Я должна была тебе рассказать, – произнесла Жанна. – Чтобы ты знала и могла вспомнить.

– Я понимаю.

- Здесь ты в полной безопасности. Значит, все остальное уже не имеет значения.

- А как в доме начался пожар?

Она встала. Подол юбки скользнул на место. Жанна подошла к буфету, прикурила сигарету. Какое-то мгновение держала перед собой горящую спичку, чтобы я видела.

- Утечка газа в спальне той девушки. За несколько месяцев до пожара на виллу провели газ. Следствие установило, что в одном месте на стыке имелся дефект. И неисправная горелка водонагревателя в одной из ванных комнат спровоцировала взрыв.

Она задула спичку.

- Подойди ко мне, - попросила я.

Она подошла, села рядом. Я протянула руку, взяла ее сигарету и затянулась. Мне понравилось.

- Я раньше курила?

- Вставай, - сказала Жанна. - Поехали кататься. Прихвати яблоко. И вытри глаза.

В спальне с невысоким потолком и широченной кроватью, на которой свободно могли бы поместиться четыре такие, как я, Жанна дала мне толстый свитер с высоким воротом, мое замшевое пальто и зеленый шарф.

Она взяла меня за руку в белой перчатке и повела через пустые комнаты к вестибюлю с мраморным полом, который эхом вторил нашим шагам. В саду с черными деревьями она усадила меня в ту же машину, что и днем.

- В десять уложу тебя спать. Но сначала хочу кое-что тебе показать. А через несколько дней начнешь водить машину сама.

- Повтори, пожалуйста, имя той девушки.

- Доменика Лои. До. Когда вы были маленькие, вы дружили с еще одной девочкой, но она рано умерла от ревмокардита или чего-то в этом роде. Вас называли кузинами, потому что вы были ровесницы. А ту, третью девочку звали Анжела. У всех трех в роду были итальянцы. Ми, До и Ая. Теперь понятно, откуда взялось прозвище твоей тети?

Она быстро вела машину по широким, ярко освещенным улицам.

- Настоящее имя твоей тети - Сандра Рафферми. Она была сестрой твоей матери.

- Когда умерла мама?

- Тебе было то ли восемь, то ли девять лет. Точно не помню. Тебя определили в пансион. Четыре года спустя тетя добилась опеки над тобой. Рано или поздно ты бы сама узнала, что в юности она занималась не слишком благовидным ремеслом. Но к тому времени она уже стала важной дамой, разбогатела. Туфли, которые мы с тобой носим, сделаны на фабриках твоей тети. - Она положила руку мне на колено и добавила: - Если хочешь, на твоих фабриках, поскольку Рафферми умерла.

- Ты не любила мою тетю?

- Не знаю, - ответила Жанна. - Зато я люблю тебя. Остальное не имеет значения. Я начала работать на Рафферми, когда мне было восемнадцать. Подвизалась в одной из ее мастерских во Флоренции. Я жила одна и зарабатывала на жизнь, как могла. Это было в сорок втором. Однажды она лично явилась в цех и первым делом отвесила мне пощечину, которую я ей тут же и вернула. Тогда она увела меня с собой. Напоследок я тоже получила от нее пощечину, но уже не могла ответить ей тем же. Это случилось в мае за неделю до ее кончины. Уже несколько месяцев она чувствовала приближение смерти, что не облегчало жизнь ее окружению.

- А я любила свою тетку?

- Нет.

Я долго молчала, тщетно пытаюсь воскресить в памяти лицо старухи в пенсне, которую видела на фотографиях в инвалидном кресле.

- А Доменику Лои я любила?

- Ее нельзя было не любить, - ответила Жанна.

- Ну а тебя я любила?

Она повернула голову, и в свете убегающих придорожных фонарей я увидела ее взгляд. Она пожала плечами и сухо сообщила, что мы подъезжаем. Мне вдруг стало больно, так больно, словно тело разрывали на куски, и я взяла ее за руку. Машина резко вильнула. Я извинилась, и Жанна наверняка решила, что я прошу прощения за свой невольный жест.

Она показала мне Триумфальную арку, площадь Согласия, Тюильри, Сену. Мы остановились рядом с площадью Мобер на улочке, ведущей к реке, перед гостиницей с неоновой вывеской: «Отель „Викторий».

Мы не стали выходить из машины. Она попросила меня взглянуть на гостиницу и поняла, что я не узнаю здание.

- Что это? - спросила я.

- Ты часто бывала здесь, в этой гостинице жила До.

- Прошу тебя, давай вернемся.

Она со вздохом согласилась и поцеловала меня в висок. Когда мы ехали назад, я снова положила голову ей на колени и притворилась спящей.

Дома она меня раздела, заставила принять ванну, завернула в огромное полотенце и протянула чистую пару хлопковых перчаток взамен намокших.

Мы сели на бортик ванны, она – полностью одетая, я – в ночной рубашке. Наконец она сама стянула с меня перчатки, и я отвернулась, едва увидев свои руки.

Она уложила меня в широченную кровать, подоткнула одеяло и погасила свет. Было ровно двадцать два часа, как она и обещала. Жанна изменилась в лице, увидев у меня на теле следы от ожогов. Но вслух лишь сказала, что их совсем немного – одно пятно на спине, два на ногах – и что я похудела. Я видела, что она старается держаться естественно, но все меньше и меньше узнает меня.

– Не уходи. Я отвыкла оставаться одна, мне страшно.

Она ненадолго присела рядом. Я заснула, прижавшись губами к ее руке. Она не произнесла больше ни слова. И только перед самым погружением в сон, на грани беспомыслия, где все абсурдно и все возможно, мне впервые подумалось, что у меня ничего нет, кроме рассказов Жанны. Достаточно ей солгать, и вся моя жизнь станет ложью.

– Нет, объясни мне прямо сейчас. Уже несколько недель подряд мне твердят одно и то же: «Позже!» Вчера вечером ты упомянула, что я не любила тетку. Расскажи мне, почему.

– Потому что она была не слишком приветливой.

– Со мной?

– Со всеми.

– Но если она забрала меня к себе в тринадцать лет, выходит, она меня все-таки любила?

– Я же не говорю, что она тебя не любила, к тому же, такой поступок выставлял ее в выгодном свете. Ты просто не понимаешь, что к чему. Любила – не любила, у тебя только один критерий!

– А почему Доменика Лои жила со мной с февраля?

- Ты встретила ее в феврале. И только потом начала повсюду таскать с собой. А вот причина ведома только тебе одной! Чего ты от меня хочешь? Каждые три дня у тебя возникали новые причуды: то машина, то собака, то американский поэт, то Доменика Лои – еще одна блажь. Когда тебе было восемнадцать, я отыскала тебя в женевской гостинице с каким-то клерком. В двадцать – в другой гостинице, но на сей раз с Доменикой Лои.

- Кем она была для меня?

- Рабыней, как и все прочие.

- И ты тоже?

- И я.

- А что случилось дальше?

- Ничего особенного. А что, по-твоему, могло случиться? Ты швырнула мне в голову сперва чемодан, потом вазу, за которую пришлось выложить кругленькую сумму, и гордо удалилась вместе со своей рабыней.

- Где все это произошло?

- В «Резиденции Вашингтона» на улице Лорда Байрона, четвертый этаж, апартаменты номер четырнадцать.

- И куда мы пошли?

- Понятия не имею. Я даже выяснять не стала. Твоя тетя только тебя и ждала, чтобы со спокойной душой отправиться на тот свет. И когда я вернулась одна, то получила от нее вторую за восемнадцать лет пощечину. Через неделю она умерла.

- Я так и не приехала?

– Нет. Не буду утверждать, что ничего не слышала о тебе. Ты натворила достаточно глупостей, чтобы мне о них донесли, но от тебя я не получала ни словечка целый месяц. Ровно столько тебе хватило, чтобы потратить все деньги. И наделать таких долгов, что даже твои альфонсы от тебя отвернулись. Мне во Флоренцию пришла телеграмма: «Прости, несчастна, деньги, целую тысячу раз в лобик, глазки, носик, губки, ручки, ножки, будь милосердна, рыдаю, твоя Ми». Клянусь, именно так, слово в слово. Я тебе покажу.

Она показала мне телеграмму, пока я одевалась. Я прочла ее, стоя на одной ноге, вторая на стуле – Жанна пристегивала мне чулок, в перчатках мне было не справиться.

– Совершенно дурацкий текст.

– И тем не менее, в нем вся ты. Кстати, были и другие телеграммы. Иногда всего лишь: «Деньги, Ми». Случалось, они шли одна за другой, по полтора десятка в день, повторяя один и тот же текст. Например, ты перечисляла мои качества. Или же нагромождала прилагательные, описывая ту или иную сторону моей личности, все зависело от настроения. На редкость настырно и весьма накладно для глупышки, оставшейся без гроша в кармане, но зато это доказывало, что ты не лишена воображения.

– Тебя послушать, так ты меня просто ненавидела.

– Я же не повторяю вслух те слова, на которые ты не скупилась в своих депешах. Ты умела сделать больно. Давай другую ногу. После смерти тети я не стала посылать тебе деньги. Я приехала сама.

Поставь на стул вторую ногу. Я появилась на мысе Кадэ в воскресенье. Ты еще не протрезвела с ночи. Я отправила тебя под душ, выставила за дверь твоих альфонсов и вытряхнула пепельницы. До помогала мне. Следующие три дня ты не раскрыла рта. Вот и все.

Я была готова. Она застегнула на мне пальто из серой саржи, взяла в соседней комнате свое, и мы вышли. Я будто попала в дурной сон. Отныне я не верила ни единому слову Жанны.

В машине я обнаружила, что все еще держу в руке пресловутую телеграмму. Однако она доказывала, что Жанна не лжет. Мы долго молчали, двигаясь по направлению к Триумфальной арке, темневшей вдаль на фоне мрачного неба.

– Куда ты меня везешь?

– К доктору Дулену. Он звонил ни свет ни заря. Житья от него нет. – Она посмотрела на меня и улыбнулась: – У моего птенчика грустный вид.

– Я не хочу быть той Ми, которую ты описываешь. Ничего не понимаю. Не знаю почему, но я уверена, что я совсем другая. Неужели я могла так сильно измениться?

Она ответила, что я и правда сильно изменилась.

Три дня я читала старые письма, перебирала содержимое чемоданов, которые Жанна привезла с мыса Кадэ.

Я методично изучала собственную жизнь, и Жанна, которая не отходила от меня буквально ни на шаг, порой не могла объяснить, откуда взялись некоторые вещи. Например, мужская рубашка. Или маленький заряженный револьвер с перламутровой рукояткой, которого она никогда раньше не видела. Или письма, авторов которых она не знала.

Несмотря на пробелы, у меня постепенно складывался собственный образ, никак не совпадающий с нынешним, совсем иным. Я вовсе не была такой глупой, такой тщеславной, такой жестокой. Меня совершенно не тянуло пить, поднимать руку на неловкую прислугу, плясать на крыше автомобиля, бросаться в объятия шведского марафонца или первого встречного мальчика с красивыми глазами и нежными губами. Допустим, виноваты последствия травмы, хотя больше всего меня тревожило другое. Неужели я была настолько бессердечной, что, узнав о смерти крестной Мидоля, в тот же вечер отправилась развлекаться, а потом даже не поехала на похороны? Не может быть.

– И все-таки это была ты, в чистом виде, – повторяла Жанна. – К тому же нельзя сказать, что ты была бессердечной. Я тебя прекрасно знала. Возможно, ты чувствовала себя несчастной. Это выражалось в необъяснимых приступах ярости, а в последние два года, главным образом, в настоятельной потребности

делить постель с кем ни попадя. Наверное, в глубине души ты считала, что все тебя обманывают. Когда ребенку тринадцать лет, такому поведению дают красивые названия: нехватка ласки, одиночество сироты, тоска по материнской ласке, в восемнадцать уже прибегают к малоприятным медицинским терминам.

– Я так ужасно себя вела?

– Да нет, не ужасно, скорее по-детски.

– Ты никогда не отвечаешь на мои вопросы! Приходится додумывать невесть что, и в голову, конечно же, лезут всякие гадости! Ты нарочно меня провоцируешь!

– Пей кофе, – сказала Жанна.

Она тоже никак не совпадала с тем представлением, которое сложилось у меня о ней в тот первый день, в первый вечер. Она держалась замкнуто, все более отстранялась. Что-то в моих действиях, в моих словах постоянно беспокоило ее, и я видела, что это гложет ее изнутри. Она подолгу молча наблюдала за мной, потом внезапно начинала говорить без умолку и неизменно возвращалась к рассказу о пожаре или о том дне за месяц до несчастного случая, когда она обнаружила меня пьяной на мысе Кадэ.

– Давай просто поедem туда.

– Съездим, подожди несколько дней.

– Хочу увидеть отца. Почему я не могу встретиться с теми, кого я знала?

– Твой отец в Ницце. Он уже пожилой. Если он увидит тебя в таком состоянии, вряд ли это пойдет ему на пользу. Что касается остальных, лучше немного выждать.

– Я так не думаю.

– А я думаю. Послушай, птенчик мой, возможно, всего через пару дней к тебе внезапно вернется память. Думаешь, мне легко отказывать твоему отцу во

встрече с тобой? Он считает, что ты еще в клинике. Думаешь, легко отгонять от тебя этих шакалов? Просто я хочу, чтобы ты увиделась с ними, когда поправишься.

Поправлюсь. Я столько узнала о себе, так ничего и не вспомнив, что уже ни во что не верила. В клинике доктора Дулена мне делали уколы, слепили ярким светом, проводили сеансы автоматического письма. Мне делали укол в правую руку и загораживали ее экраном, чтобы я не могла видеть то, что пишу. Я не чувствовала ни карандаша, который мне вкладывали в пальцы, ни движений собственной руки. Пока я, не отдавая себе в том отчета, заполняла словами страницу за страницей, доктор Дулен и его ассистент разговаривали со мной о солнце французского Средиземноморья, о радостях пляжного отдыха. Опыт проводился дважды и ничего не дал, разве что показал, что из-за перчаток почерк у меня совершенно изменился. Доктор Дулен, которому я теперь верила не больше, чем Жанне, утверждал, что подобные упражнения якобы высвобождают некие тревоги моего бессознательного, которое все помнит. Позже я прочитала «написанные» мною страницы. Это были обрывочные, иногда незаконченные фразы, в основном просто «словесный винегрет», как в худшие дни моего пребывания в клинике. Чаще всего попадались слова «нос», «глаза», «рот», «руки», «волосы», и мне даже показалось, что я перечитываю телеграмму, адресованную Жанне.

Полный идиотизм.

Настоящая ссора произошла у нас на четвертый день. Кухарка находилась в другой части дома, слуги не было. Мы с Жанной сидели в гостиной в креслах у камина, потому что я постоянно мерзла. Было пять часов вечера. В одной руке я держала письма и фотографии, в другой – пустую чашку.

Жанна курила, под глазами у нее выступили темные круги, и она в очередной раз отказала мне во встрече с друзьями.

– Нет, и точка. Как ты думаешь, с кем ты водила дружбу? с ангелами, сошедшими с небес? Уж они-то не упустят такую легкую добычу.

– Я? Добыча? Чего ради?

– Ради числа со многими нулями. В ноябре тебе исполнится двадцать один год. Тогда-то и огласят завещание Рафферми. Но и не вскрывая конверта, можно подсчитать, сколько миллиардов лир поступит на твой счет.

– Надо было мне сказать.

– Я думала, ты знаешь.

– Я ничегошеньки не знаю! Ты же сама видишь!

И тут она допустила свой первый промах:

– Я уже не понимаю, что ты знаешь, а чего нет! Я совсем запуталась. Перестала спать. Ведь, по сути, тебе ничего не стоит разыграть комедию!

Она швырнула сигарету в камин. В ту самую секунду, когда я вставала с кресла, часы в вестибюле пробили пять раз.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Комната, дома, машина, белая (ит.). – Здесь и далее примеч. пер.

2

Флоренция, Рим, Неаполь (ит.).

3

Афазия – локальное отсутствие или нарушение уже сформировавшейся речи.

Купить: https://tellnovel.me/ru/zhaprizo_sebast-yan/lovushka-dlya-zolushki

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)